Я не знаю гдѣ теперь этотъ прежде видимый для меня центръ, я могу попробовать, если не боюсь заблудиться представить себѣ это. Но когда я хочу имѣть раціональное представленіе о жизни, я довольствуюсь тѣмъ, что̀ ясно и несомнѣнно, и не стараюсь испортить это ясное и несомнѣнное примѣсью темныхъ и произвольныхъ догадокъ. Для меня достаточно знать, что все, что̀ даетъ мнѣ жизнь, составляется изъ жизни всѣхъ людей, жившихъ до меня и давно умершихъ, и слѣдовательно человѣкъ, совершающій законъ жизни, подчиняя свою животную индивидуальность разуму и примѣняя силу своей любви, жилъ и живетъ въ другихъ людяхъ по прекращеніи своего человѣческаго существованія, для меня достаточно знать это, говоритъ графъ Толстой, для того, чтобы нелѣпый и ужасный предразсудокъ смерти навсегда пересталъ меня мучить.

Но такого рода безсмертіе, зависящее не отъ неразрушимости самой сущности живущаго, а отъ болѣе ими менѣе разумнаго выполненія имъ жизненнаго закона, одинаково далеко и отъ Картезіанской и отъ Шопенгауэровской точки зрѣнія, оно скорѣе напоминаетъ Спинозу, который допускаетъ, что та часть нашей души, которая остается, какая бы часть эта ни была, есть болѣе совершенная, такъ какъ вѣчное въ душѣ есть интеллектъ.

Послѣднія главы своей книги гр. Толстой посвящаетъ вопросу о значеніи страданій въ чело-